

ИЗ ПРОШЛОГО ФИЛОСОФИИ

СЕЛЛИ ДЖЕМС

ПЕССИМИЗМ

История и критика¹

С.-Петербург, 1893

Это основное различие дает себя чувствовать не только при оценке всей вообще коллективной жизни человечества, во всем ее объеме, но и по отношению к отдельным ее сторонам. Так, общественная жизнь данного времени с ее идеалами, обычаями и учреждениями одна из первых останавливает на себе внимание людей и становится предметом их двойственной оценки. Во всякую эпоху мы можем заметить исследователей общественной жизни, принадлежащих к двум резко различающимся направлениям: одни из них склоняются к благоприятному мнению о данном состоянии общества; другие, наоборот, относятся к нему критически, выставляют на вид скрытые его недостатки и таким образом настраивают себя и других на более унылый лад. С одной стороны стоят люди, возлагающие большие надежды на современное им общество, питающие полное доверие к человеческой природе вообще и к данной общественной организации в частности; с другой — циники, осмеивающие лицемерие и лживость общественной жизни, строгие судьи современных нравов, в своем роде *laudatores temporis acti*, суровые пророки, срывающие, ввиду видимого благополучия, покровы со все увеличивающихся, хотя и скрытых общественных язв. Эти два лагеря людей представляют хорошую иллюстрацию контраста, существующего между оптимистическим и пессимистическим складом ума.

Однако при этом надо иметь в виду следующее различие: человек может преувеличивать зло или исключительно в силу своего пессимистического настроения, или же с целью обратить внимание людей на истинное благо, забываемое, по его мнению, ради презренного фальсифицированного блага. Аскетизм посреди развращенной чувственности, как это действительно и могло

¹ Продолжение. Начало см.: *Философия и общество*. 2000. № 1. С. 159.

быть в известные эпохи «темных веков», не говорит еще о пессимистическом отрицании жизненных благ, а лишь свидетельствует о более возвышенном понимании их. Точно так же не знающие меры нападки и поношения сатирика нельзя относить на счет его пессимизма, раз они имеют в виду интересы высшего порядка, благо идеальное. Даже Карлейль, у которого, может быть, более, чем у кого-либо другого из современных английских писателей, звучит пессимистическая нотка, никогда не забывает указать на нечто положительное, идеальное, предварительно развеяв по ветру самым безжалостным образом целые груды всяческих призраков; хотя, следует заметить, он выставляет истину не всегда достаточно продуманно или, по крайней мере, не всегда высказывает ее с достаточною ясностью².

Все это указывает на известный признак, имеющий важное значение и дающий возможность различать некоторые формы оптимизма и пессимизма. Как оптимист, так и пессимист могут иметь свои идеальные понятия о совершенном, прекрасном, о том, что доставляет человеку удовлетворение. Разница между ними заключается в отношении к этому идеалу. Оптимист верит в свои идеалы как в возможное и достоверное, поэтому и на действительность, хотя она далеко не кажется ему удовлетворительной, он не смотрит с отчаянием. Пессимист, напротив того, пользуется своим идеалом только как средством, чтобы выставить в более ярком свете все ничтожество окружающей действительности. В глазах практического оптимиста существующее положение — это нечто временное и изменяющееся; в глазах же пессимиста — неизменное, так сказать, последнее слово человеческой жизни. Позднее, классифицируя основателей рассудочного оптимизма и пессимизма, мы должны будем еще раз возвратиться к этому различию.

Поступательное движение цивилизации или прогресс человечества, а также физический мир как арена человеческой деятельности, представляют другое, хотя несколько уже и более широкое, но все еще, собственно, ограниченное поле для дальнейшего развития двух изучаемых нами направлений мысли. Но оптимизм и пессимизм, возникающие при оценке указанных сторон человеческого существования, тесно связаны с религиозными или философскими идеями, и потому правильнее

² Джон Морлей в своем этюде о Карлейле находит, что это именно он, Карлейль, освободил Англию от чар байроновского пессимизма. (*Прим. ред.*).

будет рассмотреть их позднее, когда мы перейдем к рассудочным формам этих противоположных воззрений. Теперь же мы попытаемся осветить примерами существующее между ними различие по отношению к воззрениям на жизнь человека в ее целом.

В литературе всех времен мы встречаемся с противоположными взглядами на судьбу человека. Со стороны оптимистов часто слышится хвала небесам и земле, как прекрасной обители, полное почтение к человеку, венцу мироздания, одаренному способностями, благодаря которым он возвышается над всем животным миром. Оптимистическое настроение, скорее, впрочем, как господствующая склонность ума, чем определенное воззрение, выражается также в поэтическом восхвалении всех социальных отношений: домашнего очага, семейных уз, привязанности к родине; оно преображает и идеализирует даже такие печальные стороны нашей жизни, как, например, разлуку с близким существом вследствие смерти последнего. К поэтам, особенно явно подчеркивающим светлые и утешительные стороны нашей общей жизни, следует отнести некоторых английских писателей, оставшихся верующими христианами. Достаточно указать Вордсворта, который при всем своем понимании суетности разных житейских благ и искреннем сочувствии к страданиям человечества все-таки инстинктивно приходит к жизнерадостному взгляду на вещи. Ему дорого человеческое страдание; в его уме оно, можно сказать, неразрывно связывается с глубочайшим блаженством: «Если бы жизнь была сном на мягком ложе, а труд был бы не обязателен, и все оставалось бы неизменным, печален был бы тогда наш удел».

Жизнь в любовном общении с природою и размышлением, не имеющая ничего общего с лихорадочным честолюбием, наполняет и удовлетворяет его душу: «У нас есть крылья, и мы находим все большее и большее удовольствие по мере того, как поднимаемся на них. Уединение и леса, урюмый океан и чистое небо поддерживают в нас такое настроение, когда ради высокого человек жертвует низменным. Книги, мечты — это целые самостоятельные миры, и книги, мы знаем, — миры действительно благодатные и неоскверненные. Наши развлечения и наше счастье будут разрастаться вокруг всего этого побегом столь же жизненными, как если бы они состояли из тела и крови».

Противоположная такому оптимизму фаза инстинктивного ворования относительно ценности человеческой жизни требует более обстоятельного разъяснения, потому что она является

естественным основанием современного пессимизма, которым мы займемся ниже. Безотрадное представление о человечестве, мире и индивидуальной жизни не составляет исключительного достояния одного века или одной расы. Оно встречается во все исторические эпохи и представляет одно из течений всякой более или менее развитой литературы.

Мы полагаем, что лучше всего начать с древней литературы, со священных еврейских книг, как наиболее известных всем нам. Хотя у авторов Ветхого Завета преобладает, несомненно, оптимистическое настроение, так как они представляли себе, что весь мир и, главным образом, еврейский народ находится под вечным надзором и покровительством мудрого и благоволящего к нему божества, однако и здесь до поры до времени раздаются пессимистические жалобы, как это мы видим, например, в Экклезиасте: «Суета сует, — читаем мы там, — все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» И далее: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа». «Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех».

Перейдем теперь к греческой литературе. В период процветания и национальной зрелости греки вообще были склонны к жизнерадостным взглядам на человечество, так щедро наделенное от природы и покровительствуемое благосклонными богами. Однако во все периоды греческой истории и притом удивительно часто слышатся также самые грустные жалобы на человеческую жизнь³.

Так, Гезиод в одном месте замечает: «Земля и море преисполнены зла; день и ночь свободно блуждают непрощенные болезни, которые приносят несчастья смертным». Даже вечно сияющий Гомер впадает иногда в пессимистическое настроение. Так, например, он говорит: «Ибо среди всех существ, дышащих и движущихся на земле, нет более несчастного, чем человек». Подобные же чувства мы часто встречаем и в произведениях греческих лириков и трагиков. В элегиях Феогнозия, например, с удивительною определенностью высказывается последнее слово современного пессимизма: «Было бы лучше, если бы дети земли

³ Дюпон в своей «Homed Gnomologica» по поводу одного замечания Гомера, которое мы цитируем ниже, говорит: «Древние обнаруживают замечательно богатое воображение при описании бедствий человеческой жизни в такой степени, что я никогда не кончил бы, если бы вздумал собрать все эпитеты и прилагательные, употребляемые писателями, в особенности греческими писателями».

не рождались вовсе... Но раз они уж родились, то самое лучшее для них возможно скорей пройти через ворота подземного царства». Точно так же рассуждает и Софокл в хорошо всем знакомом эпизоде из «Эдипа в Колонне»: «Не родиться — вот что разумнее всего. Но когда уже увидел свет, самое лучшее возвратиться туда, откуда пришел». Почти та же мысль заключается в одном замечании Менандра: «Боги скоро призывают к себе тех, кого они любят». Обращаясь к позднему периоду, мы находим в одной двустихии Палладия очень трогательную жалобу на человеческую судьбу: «О племя человеческое, проливающее столько слез, бессильное, достойное жалости, быстро поглощаемое землей и погибающее». Другие размышления в подобном же пессимистическом тоне относятся к эфемерности счастья и кратковременности человеческой жизни. Для примера достаточно указать на раздирающие душу слова Кассандры в «Агамемноне» Эсхила: «Увы, как жалко существование смертных! Когда они счастливы, одна тень может все опрокинуть (или, по Палею, они подобны тени или слегка набросанному рисунку); если же, наоборот, они в несчастьи, то мокрая губка стирает всю картину». Дальнейшие примеры можно найти у Еврипида: «Счастье непродолжительно; его хватает только на один день». Или у Гомера: «Как на смену одним листьям появляются другие, так и поколения людские сменяют одно другое». Или такие изречения, как: «человек — мыльный пузырь»; часто встречаются уподобления человеческой жизни тени и т. п.

В римской литературе пессимистическое отношение к человеческой жизни выступает еще резче и играет еще более господствующую роль. Как в Греции во время полного расцвета ее национального могущества преобладало оптимистическое настроение, так в Риме в период упадка и разрушения империи выступает на первый план противоположное настроение. Хотя это чувство прикрывалось нередко quasi философской внешностью, тем не менее в ту эпоху оно пустило уже глубокие корни и лежало в основе всякой философии. Его можно отметить в произведениях поэтов и философов, а также в тех остатках народных воззрений и чувств, которые сохранились до нашего времени. Мне придется скоро говорить об отношении этого настроения ума к известным философским идеям; в настоящем же случае достаточно будет привести несколько примеров инстинктивного, безыскусственного выражения его. При этом нам незачем цитировать многочисленные сетования римских писателей на общественные недостатки своего времени.

Известное всем восклицание Цицерона: «O tempora, o mores!» — свидетельствует о глубоком упадке общественного духа ввиду зол, разъедавших политический организм. Даже «Carpe diem» (лови минуту), которому учит Гораций, хотя и носит оттенок эпикурейской философии, в сущности проникнуто пессимизмом. В основе его лежит убеждение, что жизнь представляет собою нечто вроде тени, нечто эфемерное, что «dum loquimur fugerit invida aetas» (пока мы говорим, быстро улетучивается завистливое время») и что всякое возвышенное и имеющее в виду отдаленную цель стремление бесплодно и безумно.

Такое же угнетенное настроение, прикрытое циническою веселостью, овладело в ту пору и другими слоями общества, кроме литературного. Доказательством тому служат некоторые надгробные надписи, дошедшие до нас. Так, например, следующая надпись: «Я быть ничто, я есмь ничто, а ты, живущий, пей, ешь, потешайся и проходи... Товарищ, читающий это, наслаждайся в сей жизни, ибо после смерти нет ни веселья, ни смеха, нет никакой радости... То, что я выпил и съел, я уношу с собой; все остальное оставляю за собой». Не чувствуется ли в данном случае совершенно ясно горькая безнадежность по отношению ко всяким высшим целям жизни, безнадежность, маскируемая насильственной и неуместною веселостью?

Насколько глубоко эта эпоха была проникнута пессимистическим настроением, можно судить также по произведениям философов, даже тех из них, которые по своим принципам, как увидим ниже, склонялись скорее к оптимистическому воззрению на мир. Нигде вы не встретите такого мрачного изображения жизни, как в произведениях некоторых стоиков, причем описания их отличаются всеми характерными чертами, свойственными пессимизму в его нерассуждающей, импульсивной форме, рассматриваемой нами в настоящем случае. Сенека, например, утешая Марция, восхваляет смерть как самое лучшее изобретение природы. После обстоятельного обсуждения некоторых наиболее чувствительных превратностей в жизни человека он пишет: «К чему сетовать на мелочи? Вся человеческая жизнь в целом плачевна. Новые несчастья обступают тебя толпой прежде, чем ты покончишь счеты со старыми». Марк Аврелий, не ограничиваясь изображением эфемерности всех человеческих дел и ничтожества всех человеческих стремлений и желая поддержать спокойствие и равнодушие среди мирской суеты, утверждает, хотя и не столь резким образом, что смерть есть положительное благо. Единственное соображение, которое

может привязывать нас к жизни и удерживать в этом мире, — это счастье, какое мы находим в общении с людьми, одинаково с нами чувствующими. Но в настоящее время беспокойство, испытываемое вдумчивым человеком, ввиду глубоких противоречий общественной жизни заставляет всякого воскликнуть: «О смерть! не медли своим появлением».

Из других писателей этой же эпохи я могу назвать Плиния Старшего, который в седьмой книге своей «*Historia Naturalis*» высказывает самые безнадежные пессимистические взгляды. «Если бы мы пожелали, — пишет он, — сделать верное заключение и прийти к окончательному решению, оставляя в стороне всякие соблазны и иллюзии Фортуны, то мы вынуждены были бы сказать, что нет ни одного счастливого смертного, так как даже в том случае, когда все, по-видимому, обстоит благополучно, является страх, чтобы Фортуна не изменила нам под конец». С жестокой иронией, напоминающей Шопенгауэра, он рисует в преувеличенном виде все невзгоды, которые терпит человечество по сравнению с низшими животными: «Ни у одного из них жизнь не находится в зависимости от такого хрупкого организма; ни одно животное не испытывает в такой степени влияния необузданных желаний; ни одно не способно к такой неистовой, бешеной ярости и не подвержено в такой степени безрассудному страху».

Пример пессимизма, презиравшего жизнь за ее эфемерный характер и, подобно практической философии Горация, останавливающегося на наслаждениях данной минуты, мы находим в астрологических поэмах персиянина Омара Хайяма. Следующий отрывок прекрасно рисует умственное отчаяние перед вопросом о происхождении человека и его последнем уделе: «Вместе с ними (святым и ученым) я сеял семена мудрости и работал своими руками, чтобы они взошли, и вот жатва, собранная мною. Я появился, как вода, и ухожу, как ветер. Я пришел в этот мир, совершенно не зная, зачем и откуда, подобно воде, которая течет волей-неволей, и удаляюсь из него, подобно ветру, который мчитя через пустыню неизвестно куда и дует волей-неволей»⁴.

В современной литературе такие жалобы на пустоту и непрочность жизни встречаются еще чаще и становятся еще резче. Несмотря на оптимистическое влияние христианства, мы

⁴ Рубайать Омар Хайям — персидский поэт, астроном / Пер. на английский язык в стихах Бернаром Куарич. 1722 г. С. XXVIII и XXIX.

видим отдельных писателей, придерживающихся самых мрачных взглядов на жизнь. Большая часть подобных жалоб является в виде протеста против какой-нибудь оптимистической идеи, провозглашаемой теологией или философией, о чем мы будем говорить в следующей главе. Здесь же достаточно привести несколько примеров такого непосредственного пессимизма.

Характерным образцом чисто личного и неразработанного теоретически пессимизма могут служить письма Дилро к его подруге Софье Волан. В то время, когда знаменитый энциклопедист писал эти письма, он переживал любопытный период в своем умственном развитии, закончившийся крайне безнадежным взглядом на жизнь. «Жить, — говорит он, — среди горя и слез, быть на каждом шагу игрушкой неизвестности, ошибок, болезней, злобы и страстей, начиная с того момента, когда человек учится лепетать, и до последней минуты, когда коснеет его язык; жить среди всякого рода мошенников и шарлатанов; умирать в присутствии двух людей, из которых один шупает пульс, а другой наводит на вас ужас; не знать, откуда мы явились, зачем явились и куда идем, — вот то, что называют самым драгоценным даром родителей и природы, вот жизнь».

О Вольтере правильнее будет говорить, когда мы перейдем к рассмотрению рассудочных форм пессимизма и оптимизма. Здесь же достаточно упомянуть о писателях прошлого столетия, восставших скорее вследствие своего темперамента и инстинктивного влечения, чем серьезного убеждения, против господствовавшего в ту пору теологического оптимизма. Мандевилль, по моему мнению, может служить прекраснейшим примером подобного склада: это типичный представитель того легковесного, цинического пессимизма, который своим объектом избирает специально человеческую природу. Но так как и цинизм Мандевилля, по крайней мере, с внешней стороны представляет рассудочное верование, то и о нем также уместнее будет говорить в следующей главе. Совершенно иной характер носит глубокая и горькая мизантропия другого противника господствовавшего оптимизма — я говорю о Джонатане Свифте. Оптимизм, покоящийся на том, будто бы ум человеческий может решить проблему бытия, вызывал у него глубочайшее отвращение. Лесли Стифт в своей замечательной истории этой эпохи говорит: «Свифт с неподражаемой силой утверждает, что первобытный человек не есть, как полагают теоретики, существо разумное и

добродетельное, но чаще всего — плут и безумец»⁵. Едва ли возможно выразить в более резкой форме презрение к человечеству, чем речь Юпитера в «Дни страшного суда», начинающегося так: «Безумное племя людей, ослепленное природою, знанием, разумом. Вы, павшие по своей слабости, и вы, никогда не падавшие по своей гордости, и т. д.».

Теперь мы обратимся к позднейшей литературе, именно к современной поэзии. Здесь мы наталкиваемся на многочисленные случаи выражения всепоглощающего чувства скорби о жизни. В особенности впадают в этот гон писатели, жившие в начале настоящего столетия. Что касается английской литературы, то влияние такой всепроникающей, хотя и спокойной скорби мы можем наблюдать на произведениях Шелли. Правда, он хватается за отдаленный, возвышенный идеал, но, несмотря на это, в его стихах время от времени звучит безнадежность. Его мысли о религии, насколько можно судить по «Королеве Маб», проникнуты глубокой горечью пессимистического настроения, и эта горечь нимало не облегчается появлением духа природы и «всеобъемлющей силы», так называемой необходимости, которая относится ко всему сущему в мире, как к своему «пассивному орудию», чьих радостей и горестей она по своей природе не может чувствовать, так как ей чуждо всякое человеческое чувство. Пессимистическая струнка слышится также совершенно ясно в таких его поэмах, как «Несчастье» и «Превратность». Едва ли возможно было бы высказать более сильно печальный взгляд на вещи пессимистов, чем делает это Шелли в следующих строках: «Цветок, ласкающий наш взор сегодня, завтра умирает; все, что мы хотели бы сохранить, прельщает нас и исчезает. В чем же прелесть этой жизни? Это — молния, насмехающаяся над ночным мраком, столь же мимолетная, как и блестящая».

У Байрона пессимизм носит еще более мрачный характер благодаря тому, что у него нет такого страстного влечения к божественному идеалу, красоте и духу, правящему Вселенной, какое мы видим у Шелли. Так, следующие хорошо знакомые строки ясно говорят о бесповоротном пессимизме до конца: «Сочти радостные часы, которые ты пережил; сочти дни, свободные от тоски, и знай, кто бы ты ни был, что есть нечто лучшее: не существовать».

В другом месте, горько протестуя против условностей жизни, он говорит: «Наша жизнь есть ошибка природы: она не находится

⁵ History of English Thought in the Eighteenth Century. Т. II. Ст. 371.

в гармонии с миром; это — суровый приговор, неизгладимая печать греха, необъятный урас, ядовитое дерево, всеиссушающее дерево. Корень его — земля; листья и ветви — небеса, которые сыплют на человека, как росу, болезни, смерть, рабство, все свои бичи, все бедствия, которые мы видим, и, что еще хуже, бедствия, которых мы не видим, которые неотразимо проникают в душу и наполняют ее вечно новыми терзаниями».

В немецкой поэзии выразителями такого настроения являются Генрих Гейне и Николай Ленау. В произведениях обоих этих поэтов чувствуется, так сказать, дыхание глубокой меланхолии. Гейне известен преимущественно как и певец «мировой скорби» (Weltschmerz), глубокой грусти, наполняющей душу ввиду быстротечности и обманчивости всех земных благ. Хотя в его поэзии и пробивается источник идеальной веры, но течение его постоянно задерживается и нарушается мутным потоком сомнения и отчаяния. Поэтому его произведения носят фантастический и противоречивый характер; он находит мефистофелевское удовольствие в том, чтобы созидать и затем разрушать созданное, как нечто призрачное и фантастическое. В большинстве случаев Гейне является выразителем сравнительно простого пессимизма, когда индивидуальная жизнь, именно жизнь впечатлительной поэтической природы, рисуется исполненной разлада и мучения; но иногда он переносит свои мрачные взгляды на человеческую жизнь вообще.

Следующие строки представляют поразительный пример такого торжествующего презрения к жизни во всем ее целом: «Я вижу сквозь твердую поверхность камня человеческие жилища и человеческие сердца. И в тех и в других я вижу ложь, лицемерие и несчастье. На лицах я читаю самые злые мысли. Под румянцем стыдливости молодых женщин я вижу тайный трепет сладострастия. На голове гордого и вдохновленного юноши пестрый шутовской колпак безумия. Одни только бесчисленные карикатуры и тени вижу я теперь на этой земле и не знаю, что это такое: дом ли сумасшедших или госпиталь».

В поэзии Ленау царит такой же дух уныния. Особенно сильно обнаруживается оно в поэме, озаглавленной «Der Zweifler» (человек сомневающийся, скептик). «Превратность! как шумно бегут твои волны в лабиринте жизни. В твоём водовороте исчезают все источники. Никакая спасительная плотина не может противостоять тебе! Но на твоём берегу веселые безумцы поглощены мыслью о бессмертии. На твоём берегу? — Нет, твои воды проникают в своём течении в самые сокровенные тайники

каждого существа. В лихорадочном биении моего сердца, о, превратность! слышится рев твоих водопадов».

Как на самый резкий пример такого пессимистического направления в современной поэзии мы можем указать на произведения графа Джакомо Леонарди. У него отчаяние как по отношению к личному счастью, так и общественным стремлениям достигает, по-видимому, высочайшей степени и вырывается в раздирающих душу воплях. Стихотворение, озаглавленное «A se stesso» («К самому себе») с поразительной яркостью раскрывает настроение Леонарди: «О, мое сердце, засни навсегда. Ты достаточно билось! Ничто в мире не стоит твоего биения, и вздохов твоих не достойна земля. Горька и печальна жизнь и, сверх того, всегда ничтожна; мир есть прах. Успокойся же. Оставь навсегда всякую надежду. Судьба дала в удел человеку только смерть. Поэтому презирай себя, природу и эту гнусную силу, которая направляет тайно все к гибели и обращает в бесконечное ничтожество все сущее».

В одном из писем к Джордани Леонарди говорит, что пессимизм доставляет ему положительное наслаждение: «Я радуюсь, убеждаясь все более и более в ничтожестве людей и вещей, осязая его и чувствуя леденящую дрожь по мере того, как проникаю в грустные и ужасные тайны жизни». В другом месте он пишет: «Все вокруг нас исчезает. Только одно достоверно, что страдание всегда остается неизменно». Или он повторяет этот ужасный вывод древних: «Но совсем не видеть света было бы, я полагаю, всего лучше».

Французская поэзия также не свободна от пессимистических стенаний подобного рода. Так, например, Ламартин: хотя он и старается найти болеуспокаивающее средство против житейской скорби в христианской покорности, но, тем не менее, время от времени разражается самыми горькими жалобами. В 7-м размышлении, «Отчаяние», он говорит: «Какое преступление совершили мы, что заслужили появление на свете? Разве человек просил у тебя такого жалкого ничтожества, и разве он принял его? Или мы, о случай, только плод твоей прихоти, или, быть может, жестокий бог, наши страдания нужны были для твоего блаженства?»

Как последний пример так называемого мною непосредственного пессимизма, я укажу на «Nachtwachen» («Ночные бдения») Шеллинга. Это произведение хотя и принадлежит перу одного из наиболее туманных метафизиков, имеет собственно очень мало общего с философскими принципами, представляя собою непосредственное выражение того широко

распространившегося пессимистического настроения, которое интересует нас в настоящую минуту. «Ночные бдения», появившиеся под псевдонимом Бонавантюра (Bonaventura), написаны были Шеллингом в критическую пору его нравственного и умственного развития, когда философа обуревали всеразрушающие сомнения и отчаяние, и рисуют чрезвычайно яркую картину человеческой жизни, рассматриваемой сквозь призму мрачного пессимистического настроения. В целом ряде фантастических образов, кажущихся как бы продуктом больного мозга, этот писатель воспроизводит перед нашими глазами разные характерные сцены, взятые из самой жизни, и поясняет свою панораму горчайшими сарказмами над человеком и всем миром. Жизнь человеческая рисуется здесь как трагикомедия, которая не стоит того, чтобы ее описывать и в которой главные роли назначаются самым плохим исполнителям. Автор говорит, что все мы представляем собою замаскированное небытие. Всякий, кто решился бы раскрыть свое «я» в голом, натуральном виде, бежал бы от собственного ничтожества и непотребности; поэтому каждый рядится в лохмотья театрального костюма и носит на своем лице маску радости и любви, чтобы придать себе заманчивую внешность. В конце концов наше «я» глядит на эти лохмотья и воображает, что они-то и составляют его реальное существо. «Скелет смерти всегда мелькает позади этой жадно глядящей маски, — и жизнь есть не что иное, как колпак и побрякушки, в которые наряжается небытие для того лишь, чтобы произвести шум и затем изорвать и отбросить их далеко от себя». «Sartor Resartus» Карлейля кажется вполне веселым и шутливым по сравнению с этим безжалостным обнажением человеческого ничтожества. В заключение Шеллинг представляет самого себя как бы стоящим на краю могилы и с жестокой иронией (ср. с грустными размышлениями Гамлета) рассуждающим по поводу ничтожества всех процессов, совершающихся в мозгу: «Что такое этот чертог, — говорит он, — вмещающий в себя весь мир, все небо, этот волшебный замок, где чудеса любви совершают свои фокусы при помощи волшебства, этот микрокосм, в котором все славное и великое, все отвратительное и ужасное лежит в зародыше бок о бок, который создает храмы, богов, инквизиции и демонов, этот венец создания — человеческая голова? Жилище червя! Что же такое мир, если то, что задумало его, ничто, и если все, что он в себе содержит, только мимолетная фантазия!.. Что такое всякие земные фантазии, весна и цветы, если самое дыхание фантазии исчезает в этом маленьком шаре, если здесь, в этом

внутреннем пантеоне, все божества падают со своих пьедесталов, а черви и разрушение проникают в него?»»